

Я подымаю взгляд от письменного стола к книжным полкам на дорожную для меня фотографию: два молодых человека, положив руки на плечи друг другу, едут на лошадях по долине реки Каниэ. На горизонте за их плечами в голубой дымке тают горы – отроги Гиссарского хребта. Лошади идут рядом, так что их вытянутые шеи соприкасаются и нежно трутся одна о другую. Долина цветёт. Жёлтые лисьи хвосты, мощные медвежьи дудки, зелёные вороны ядовитой, но прекрасной юган-травы тянутся к холодному сверкающему небу справа и слева от тропы, по которой медленным шагом едут два всадника. Один из них – Эрнст Портнягин. Другой – я. Я – на белой лошади. Эрнст – на чёрной...

Он, нелепо погибший в своём последнем маршруте во время своего, как он думал, последнего полевого сезона, был одним из ярчайших людей, с которыми мне посчастливилось пройти бок о бок какую-то часть жизни. Двадцать лет из сорока двух Эрнст Портнягин провёл, как говорят геологи, “в поле”.

А его поле было широким: от амурской тайги до горячих Каракумов, от полонин Закарпатья до ледников Памира. Он своими ногами исходил тысячи километров, вложил свой личный вклад в составление многих геологических карт, сам совершил немало научных открытий, сам открыл десятки нужных родине месторождений.

Закружило меня ремесло,
слава путника и следопыта,
слишком быстро по свету несло,
слишком лихо звенели копыта.

Будучи уже известным геологом, он разделил сердце между двумя стихиями – работой и поэзией. Вернее, не разделил, а соединил их в сердце. Но с каждым годом поэзия занимала в этом сердце всё большее и большее место. Не только две талантливые книги, изданные им, были подтверждением этому. Уважение, которое образовалось в нашем кругу вокруг его личности и его творчества, также чего-то стоило. Освоив родину судьбой и работой, пройдя по её просторам, в своей поэзии он как бы начал заново осмысливать истоки родства, истоки патристического чувства...

Недаром незадолго до гибели Эрнст Портнягин несколько раз успел побывать на своей малой родине – в Зауралье, успел осмыслить в стихах связь истории и времени с дорогим его сердцу кусочком земли.

Вот оно, обновление духа,
вот оно, перед чем я в долгу.
Я вошёл в эти двери без стука,
я — родной в пятистенном дому.

Он был одновременно учёным, поэтом, рабочим, интеллигентом – да всего не перечислишь: родина и любовь, дружба и дело, “бремя страстей человеческих” и бремя гражданского долга – вот чем жила его поэзия.

Многие из его стихотворений я узнал лишь после гибели Эрнста. Его друзья прислали мне черновики, наброски, блокноты, оставшиеся после него в командирской палатке. Эта третья его книга, которую он сам успел назвать словом “Родное”, надеюсь, скажет нам, какого человека – талантливого, честного, бескорыстного служившего дружбе и поэзии, – мы потеряли.

В моей же памяти его образ останется неизменным: на чёрной лошади, с чуть небрежной молодцеватой посадкой – одно плечо немного вперёд, – бородатый, кареглазый, с широкой улыбкой, в линейной штормовке, а вокруг – снеговые хребты да несколько орлов над ними, да сурки свистят на склонах, да шумит в мраморном русле ледяная вода Ягноба... Вечность...

Мне — двадцать три. Мне — двадцать три.
Откуда взяться мудрости.
— Давай, начальник, говори! —
ждут работяги хмурые.
Чужой души потёмки, тьма
печатями закреплена,
прикрыта документами:
лишение прав, побег, тюрьма,
Алдан, Печора, Колыма —
огонь и трубы медные.

— А ты зови меня Стальным,
прозвали так за то, что я
был понадёжней остальных,
был молодым и был шальным,
но это дело прошлое.
Я понимаю, помогу,
твоя наука строгая,
сухой закон, тайга, Амур —
ну, в общем, геология!

Мне — двадцать три. Их — двадцать три.
Погрузка, утро раннее,
плывёт баржа на край земли.

Учителя, поводыри,
о, если б видеть вы могли,
как этим летом “год за три”
мне шло образование.

Дробилась сталь, редела мгла
отчаянного ремесла,
всё реже мучила и жгла
привычка окаянная.
В тепле осеннего костра
осколки льда, остатки зла...
И листопадом замела
свобода долгожданная.

* * *

К опасной работе приучен давно,
я знаю: привычка надёжней отваги.
За друга тревожусь. В долине темно,
луна задыхается в облачной вате.

А я задыхаюсь в табачном дыму:
“Неужто в потёмках он сбился с дороги?”
Курю и гляжу в непроглядную тьму
и скоро отряд подниму по тревоге.

За друга боюсь, потому что люблю
и помню себя новичком оглашенным,
сто раз рисковал, искушая судьбу,
пока не увидел цены искушеньям.

Покуда своим леденящим крылом
лавинное горе меня не задело.
Мой спутник остался под белым холмом.
Беспечность осталась под саваном белым.

Покуда весёлую лошадь мою
не снёс водопад, а мальчишку отбросил...
Но я не просил, а сегодня молю,
берёг до сегодня единую просьбу.

Других не найти. Он — единственный друг.
Храните поэта, Небесные Горы!
Он первый заметил, как сузился круг,
такой необъятный в недавние годы.

* * *

Ещё по плечу кутерьма
тропы, каравана и вьюка,
и лошади сходят с ума,
завидев старинного друга.
Ещё подниму на скаку,
достану любую потерю.
Ни другу, ни ученику
я трудный маршрут не доверю.
Как прежде, высоты люблю,
в низинах впадаю в отчаянье,

но только всё чаще ловлю
себя на внезапном молчанье.
На первой своей немоте,
на страшном бессилии слова:
всё, что отболело во мне,
назад возвращается снова.
То тихой осенней водой,
то гулом и паводком вешним,
но нет безграничности той,
но нет беспечальности прежней.
Горячий туман поредел,
и чувства лишились обмана.
Наверное, первый предел
дано мне почувствовать рано.
Любимцу порожистых рек,
питомцу тайги неоглядной
узнать, что сжимается век
и скорость растёт беспощадно.
Изведать ещё молодым,
что шум — это жизни дыханье,
и мы неизбежно летим
к холодной границе молчанья.

* * *

Степь дотянулась
до самой черты снеговой,
мне подарила
частицу забытых просторов.
В этом году
я не раз был одёрнут судьбой,
в этом сезоне
достаточно ран и проколов.
Только и сил,
чтобы тело забросить в седло
и, припадая к горячей
и пляшущей холке,
видеть, как чёрный клинок —
вороное крыло —
небо рассёк,
и посыпались солнца осколки.
То ли мне чудится
после знобящих ночей,
то ли мерещится
после трёхдневного жара:
вещая птица
нависла над долей моей,
конь вороной
охраняет меня от удара.
Зубчатой тенью
в дорогу впечатался мрак,
ворон летит
и грозит непроглядною мглою.
Я отпускаю поводья,
а друг — не дурак:
тоже ведь знает,
что рано прощаться с землёю.
Тоже ведь знает,

что рано прощаться со мной:
время приходит
судьбе и недугам перечить...
Ворон свернул
и пропал в ущелье глухой,
синий чабрец и полынь
полетели навстречу.

* * *

Станиславу Куняеву

Как грохочет и плачет река,
как стенают скалистые края.
Спи, мой милый, палатка легка,
а грехи безрассудные тяжки.

В тихом доме тебе не уснуть,
невозможно прервать напряженье,
и слова, прожигавшие грудь,
по ночам продолжают движенье.

Как забыт и как снова глубок
он у края глубокой теснины,
где судьбой управляет Ягноб,
безразличный к законам равнины.

Сон обрушенным снегом плывёт,
растворяясь в заоблачных водах.
Только изредка землю тряхнёт
от обвала ледового свода.

Слишком жёны от нас далеко,
дорожат слишком мало мужьями.
Распустилась коса Ханако,
вдоль Гиссара взметнулась дождями.

Слишком воздух наполнен грозой,
слишком дороги сны молодые,
слишком рано архангел трубой
призывает нас в дали иные.

ВОЗВРАЩЕНИЕ

Возвращение блудного сына,
возвращение дальнего внука
в материнский и дедовский свет...
Нету больше гумна и овина,
всё тесней от машинного звука,
пешеходного воздуха нет.

Вся родная деревня грохочет.
Пыль столбом. Трактора и комбайны.
Свист уборочной. Сроки горят!
Но приезжий смириться не хочет:
в одиночку, украдкой, тайно
норовит оглянуться назад.

На просторные детские годы,
где природа и предки живые
связь времён открывали ему.
Там бездонны озёрные воды,
тропки еле видны луговые,
и волшебник в пчелином дыму.

Знает старец какое-то слово,
причитает, гудит тем же тоном,
что певучий клубящийся рой.
Дарит сладкого воска осколок,
раздвигает рукой золочёной
пелену голодухи сплошной.

Всё припомнилось первой же ночью,
я по дому брожу и воочью
вижу горницу, сени и клеть,
рядом с русской печью — залавок;
неизменен великий порядок,
и не с нами ему умереть.

Но со мною уйдёт, угасая,
свет озёрный, осока сырая,
запах сена в потёмках сарая.
Перечёркнута пряслом луна —
на холодном светиле искусства
три черты беззащитного чувства:
мать... разлука... родна сторона...

ЗАВЕЩАНИЕ

Ведь сомкнётся всё-таки земля,
ляжет надо мною плотным слоем.
Если живы будете, друзья,
подыщите место под сосною.
Чтобы мой пригорок или холм
весь на солнцепёке золотился,
чтобы шёл просёлок на подъём,
за увалом где-то расходился.
Растекалась надвое струя
вечного родного раздорожья:
до развилка — верная стезя,
ну, а там, что будет, — воля Божья!
В этой вере нету тайных сил:
Родина молиться разучилась...
Ничего при жизни не просил —
после жизни подарите милость.
Чтобы я лежал у колеи
и дожди проваливались в хвою,
сквозь песок легко текли, текли,
как при жизни, их ловил рукою...
Тишина покорная моя,
как тебя при жизни не хватало!
Я летел, а отчая земля
на подзолах и песках стояла.
Напоследок оставляла грусть
у золотоствольного подножья
и ждала, когда остановлюсь
на родном извечном раздорожье.